

# Игорь Шестков "Портрет"

## П О Р Т Р Е Т

Холодной осенью 197... года моя добрая бабуля выпросила у моего скуповатого деда триста пятьдесят рублей мне на зимнее пальто. Старое, английское, которое я донашивал после отца, прохудилось. Триста пятьдесят рублей для вчерашнего студента, а ныне младшего научного сотрудника — сумма астрономическая.

Искушающая и наводящая на размышления.

Три месячных зарплаты истратить... на пальто? Фи.

Цепочка, приведшая бабушку к шикарному ратиновому пальто с каракулевым воротником, была длинной и сложной, если сравнить ее с горной тропой — петляющей и труднопроходимой. Но бабушка прошла ее до конца. В магазине «Синтетика», кажется в отделе тканей, работал товаровед А., близкий знакомый повара Б. из ресторана «Университетский», повара эта приходилась двоюродной сестрой второму помощнику главного архитектора

Центракадемстроя, старинному интимному приятелю красавицы художницы В, фаворитки всесильной московской старухи Г, вдовы замминистра здравоохранения и поклонницы известного экстрасенса Д, с которым моя бабушка познакомилась в Академической больнице. Экстрасенс подошел к сидящей в кресле и читающей «Лолиту» по-французски бабушке и тихо проговорил, не открывая рта: А вам не кажется, что эта книга высокомерна и написана неестественным вычурным языком, по крайней мере, в русском варианте?

Бабушка вздохнула, опустила глаза и парировала: По-французски читается легко и приятно. Хотя тут так много секса с детьми...

Так вот, с женой этого товароведа дружила ее одноклассница Е., работавшая в кассе консерватории, гигантша, эфедринщица и черная мизантропка. Дочь гигантши, тоже гигантша, но оптимистка и страстная филокартистка зарабатывала себе на булочки закройщицей в загадочном магазине за Цумом. В магазине, не имеющем ни неоновой рекламы, ни даже вывески, но полном качественных товаров, о которых обычные москвичи могли только мечтать.

Моя бабушка активировала цепочку своим еврейским гальванизмом. Не без помощи шоколада, коньяка, цветов и других предметов и услуг, подаренных и оказанных вышеперечисленным лицам различными знакомыми. Оптимистка-филокартистка, например, получила в подарок набор открыток «Шляпки и Мода», выпущенный в Брюсселе в 1899 году, ее мать — маленькие позолоченные часики, помощник архитектора — абонемент на семейный номер в Сандуновских банях на год, а экстрасенс стал обладателем «Истинной жизни Себастьяна Найта» в оригинале.

На очередном домашнем празднике бабушка устроила что-то вроде церемонии присяги ратиновому пальто. Попросила меня при всех обещать, что я не потрачу деньги на что-либо другое, и вручила мне почтовый конверт «Аэрофлот». На конверте был изображен самолет Як-40. Я подумал невольно, уж не тот ли это самолет, который не так давно «столкнулся с горой».

Конверт я спрятал в карман брюк, потом сел, положил себе в тарелку две больших ложки салата оливье с куриным мясом и увесистый кусок пирога с капустой, из которого вывалился оранжевый кусочек желтка. Подцепил вилкой и отправил в рот два сочных анчоуса, пожевал, проглотил, отведал салата, убедился в том, что он очень удался, хотя и был жирноват, налил себе полрюмки белого вина, пригубил. И только затем встал и поблагодарил дедушку и бабушку за подарок и торжественно обещал купить пальто сегодня же.

А за спиной скрестил пальцы.

Через час я покинул наше семейное гнездо и направился... нет, не в переулок за Цумом, а совсем в другую сторону, на Октябрьскую площадь, в антикварный магазин.

Почему в антикварный, а не, скажем, в букинистический?

Потому что я давно присмотрел там небольшой портретик одного странного старика, стоимостью ровно в триста пятьдесят рублей. Честная работа, не шедевр, но меня очаровала. Да так крепко, что я готов был не на шутку разозлить деда и расстроить мою вечно хворающую бабушку. Готов был, даром что совок, топтать еще неизвестное количество лет в рванине по холодрыге как Акакий Акакиевич.

Ладно, — уговаривал я себя, реагируя на электрические уколы совести —

заработаю как-нибудь и сам на пальто. Займусь репетиторством. Дураков вокруг — несчитанные тысячи. И все хотят, задрать штаны, учиться в МГУ. Два часа синусов и косинусов — десять рэ с рыла. К следующей зиме подкоплю денег. Бабушку вот только жалко, будет бедненькая плакать из-за чертовой тряпки.

...

Вообще-то я живопись не люблю. Настроение... Композиция... Масляна головушка, шелкова бородушка.

Больше всего не люблю томных мадонн с голожопыми младенцами. Бее...

Не на много лучше мадонн — распятия, ландшафты и портреты.

Никогда не забуду выражение глаз молодых японок в Картинной Галерее в Карлсруе. Фарфоровые девушки трепетали перед огромным распятием

Грюневальда как волнистые попугайчики перед раскаленными воротами ада.

Сбились в стайку, перестали ворковать, вцепились крохотными пальчиками с цветными флуоресцентными коготками в лакированные белые сумочки с

золотыми цепочками и маленькими пластиковыми куколками. Футуристическая Азия с изумлением и страхом застыла перед страшной образиной средневековой Европы.

Ландшафты невыносимо скучны. Красота и живописность нарисованных деревьев — и стволов и веток и листьев — только подчеркивает их безжизненность. Ветерок не веет, бабочки не порхают, пчелы не жужжат, вода не струится, люди и лошади застыли в искусственных противно-классических позах. Все слишком красиво или чересчур безобразно, навязчиво символично или подчеркнуто естественно. Цветасто.

Авторы портретов, этих ландшафтов из бород, носов, губ, из драпировок, воротников, рукавов и панталонов, этих закатанных в полотно, как жертвы мафии — в бетон, торсов, бюстов, голов, уверены, что у зрителя слюна набегает во рту и щеки чешутся из-за жгучего интереса к изображенным персонам. Но, господи, какое мне дело, как выглядели камзолы, ботфорты и спесивые мины в париках такого-то испанского вельможи и его набожной супруги с перламутровым крестиком на дебелий груди?

Почему меня должны волновать — белизна жабо голландского чиновника, невероятная крючковатость с безжалостным реализмом переданного носа

(ноздри как бы подрезаны, на кончике — синие жилки) антверпенского ростовщика и лоснящиеся жиром плечи и наливные яблочные щечки какой-то застенчивой фламандской фемины?

Да, во время жизни человека, а иногда и несколько лет после его смерти, эти трудоемкие заменители фотографии еще имеют какой-то смысл. Сохраняют память о дядюшке, вовремя умершем и оставившем — вот уж никто не ожидал — кучу серебряных талеров, выжатых им из простого люда. Или о зловещем генерале, без колебаний пославшем пятьдесят тысяч солдат на верную гибель только для того, чтобы прослыть непоколебимым и жестоким среди таких же, как он, сверкающих позументами, чиновных убийц.

Сам не понимаю, чем меня приворожила эта неказистая картинка, висящая в темном углу антиквариата на Октябрьской. Ничего, кроме пугающего чувства дежавю она во мне не вызывала. Но почему-то тянула, гипнотизировала, заставляла себя рассматривать.

Когда я платил, продавец — курносый выжига с обезьяньими бакенбардами, заворачивая портрет в бумагу, хихикал, гримасничал и бормотал: Хм, портретик на фоне городского ландшафта. Хи-хи-хи... Неизвестный художник. Надписи на вывесках умопомрачительные! Обратите внимание. Антрацит Кокс. Хм...

Брутально! Искусствоведу показывали, он только головой качал и твердил — восхитительно! Сюрреализм прямо. Станный какой-то дед, уставился вроде и сказать что-то хочет. Тут уборщица одна на него вечером загляделась. А потом — бряк, и в обморок грохнулась. Чуть мраморную вазу с княгиней Дашковой не разбила. Говорила, старик этот ожил и губы синие из картины вытянул.

Уволилась даже. Принес нам этот портретик какой-то пожилой очкарик лет семь назад. И пропал, как в воду. На комиссию взяли работу. Оценили в тысячу двести рублей. Как-никак — 1910 год. Три раза уценяли. Но никто не купил. Что я вру, постойте, один богатый дядя купил года четыре назад. Еще за шестьсот. А на следующий день вернул портрет и деньги потребовал. Что-то он такое рассказывал. Все ржали. Хм... Какие у вас пятидесятирублевки новые. Сами печатали?

...

Дома мою покупку ожидал вбитый в тонкую стену между комнатой и кухней

толстый гвоздь с шляпкой. Я натянул между двумя колечками на обратной стороне рамки медную проволоку и повесил портрет на гвоздь. Потом принял ванну. В воду подлил лечебного елового экстракта. Прочитал в ванной «Посещение музея» Набокова. Тема любопытная. Гулял, гулял эмигрант по провинциальному музею, заблудился и вышел... в советском Ленинграде, «в России... безнадежно рабской и безнадежно родной». Подивился, какой же неловкий, нерусский язык у Набокова: «...я был застигнут сильным дождем, который немедленно занялся ускорением кленового листопада: южный октябрь держался уже на волоске». Каждую третью фразу нашпиговывает сардонический писатель каким-нибудь рахат-лукумом, иногда получается блестяще, а иногда текст проваливается. А вот Хармс, напротив...

Поужинал. Сел за письменный стол. Прикидывал и записывал в тетрадку, куда надо завтра забежать, с кем поговорить, что сделать. Провозился до часа ночи. Глаза слипались, тело ныло. Еле дотащился до дивана, лег, не раздеваясь, и тут же провалился в сон. А в четверть пятого проснулся. Что-то меня разбудило. Как будто меня позвал кто-то, по щеке потрепал и сказал: Пора.

Я инстинктивно посмотрел на портрет. Ничего... Висит себе.

Позевал, сел перед ним на стул, осветил настольной лампой и стал рассматривать. Красочный слой был загрязнен и покрыт пылью. Принес чистую влажную тряпочку, капнул на нее каплю водки и осторожно протер поверхность. Картина ожила.

Город. Сумерки. Снежок сеется с мутного неба. Старик на фоне улицы. Черный котелок. Широко расстегнутая лисья шуба. Под ней — темный сюртук. Похоже на мундир. Чиновник что ли? Или пожарник? Галстук почему-то пунцовый, как у пионера. Лицо узкое, выразительное, в морщинах. Смотрит как-то ошалело. Обманщик? Фокусник? Шулер? Сутенер? Сумасшедший? Кого-то он мне ужасно напоминает.

Улица убегает вдаль. Дома солидные. Невский проспект? Вроде бы в конце Адмиралтейство виднеется. Или не Невский? Кажется, в старой Москве таких прямых улиц и не было вовсе. Всегда была кривобока.

Нарисовано, видимо, в один присест, на улице. Письмо небрежное. Малевал мазила как умел, только надписи на вывесках прорисовал аккуратно тонкой

кисточкой. Или заостренной палочкой процарапал. Подпись не поставил, но датировал работу двадцать первым января 1910 года.

Ба... да он тут и рекламные объявления вписал... почитаем. Крохотные букочки. Ага, вижу, повеселился живописец. Порезвился, как стрекозел на цветочном лугу.

*Исключительная продажа готового мужского платья.*

*Руслан. Средство от насекомых.*

*Красивая грудь. Рыбо-Коптильная торговля Владимира Соловьева.*

*Далматская ромашка. Самокрасящие гребенки Фор.*

*Жидкость от клопов и тараканов. Духи от комаров.*

*Чай Сергея Алексеевича. Слабительное Арагац. В пилюлях.*

*Швейные машины. Без вкуса. Без запаха. Парфюмерия русских бояр.*

*Синема театр Паризиана. Девочки-беляночки.*

*Трик-трак в полночь. Захватите пистолеты.*

*Ресторан Доминик. Женщина, которая не улыбалась.*

*Пух и Перья. Общество страхования жизни Эквитебль.*

*Перуин Пето. Лучшее средство для ращения бороды.*

*Реестр квадратов. Совершенно даром.*

Только вот, почему он эти надписи в современном написании, без всяких ятей воспроизвел? Что-то тут не так. Современный портретик-то... надули меня... датировка — блеф... зачем ему было блефовать? Чтобы цену завысить. Начали с 1200 рублей. Рассказы про уборщицу тоже блеф.

Портрет левый. Висел себе... в ожидании лоха... И вот пришел я и дедовы деньги отдал. Вот тебе и Перуин Пето.

*Карл Булла. Крем Лиссабон. Добро пожаловать в бани Симоновича.*

*Лучшие музыкальные шкатулки.*

*Обильный, вкусный стол влечет за собой удручающие запоры.*

*Алеф-Нуль. Ночлежный дом. Песен не петь. Вести себя тихо!*

*Гипнотизм и личный магнетизм.*

*Кривые и уродливые носы могут быть исправляемы и улучшаемы тайно у себя дома.*

*Лотерея Аллегри. Ломбард Шапокляк. Счастливые камни.*

*Настоящий рижский бальзам завода Юлий Цезарь. Балерина Муха.  
Продажа бумаги писчей, почтовой, рисовальной Ивана Васильевича Жука.  
Цветочный Одеколон Брокар. Качество вне конкуренции.  
Граммофоны Бурхард. Зрелище электрического мира.  
Гвинтер, Финтер, Жаба. Товарищество Костанжогло.  
Заведение Виктория. Богемский Хрусталь Графа Гарраха.  
Нотариус Китославский.  
Театр для мужчин Аквариум. Рабинович и Ридник.  
Искусственные зубы как у акулы.  
Театр для дам Зоология.*

...

Я чувствовал себя надутым шариком. Сжимал кулаки и строил планы мести. Да, кстати, он упомянул Кокс Антрацит. Что-то не нашел я такой надписи. Где же она? Я уткнул нос в портрет, искал-искал, но тщетно. Тьфу... и тут надул... Портрет пах рыбьим клеем и краской. Старая живопись так не пахнет... Тут мне показалось, что из картины донёсся какой-то шум. Я оторопел. Да... шум, как в радиотеатре... вроде конка едет... разговор... газ в фонаре шипит... колокола... свист... гудки паровозов...

А это что за сапоги всмятку?

Лицо старика... как будто изменилось. Прищурился старик. Потом глаза закрыл и открыл рот... А теперь наоборот, открыл глаза, а рот закрыл. И вдруг... вытянулся из портрета как язык хамелеона, схватил меня за нос и дернул на себя. И я... что за... уменьшился как Алиса в комнате с кроликом и упал в картину, как бильярдный шар в лузу. А портрет вдруг стал глубоким как колодец. И стал я в этот колодец падать. И растерял я в падении все, что еще было мной.

...

Обрел себя я вновь в теле горного инженера Ульриха Тролля в тюрингском городке Зонненберг. Я стоял на Рыночной площади. Рядом — карета с кучером. Меня обступали какие-то люди. Я обратился к ним с короткой приветственной речью на немецком языке. Пожал несколько рук, поулыбался, покивал головой и поехал в гостиницу. Там меня поприветствовали и отвели в номер. На изящном

ореховом столике лежала свежая газета. От 23 августа 1875 года.

На следующий день я приступил к работе, спустился в шахту, осмотрел заброшенное месторождение серебряной руды. Начал набрасывать чертежи необходимых построек.

Через месяц на концерте духового оркестра я познакомился со стройной полногрудой девицей Евелин Бецнер, влюбился в нее и, не долго думая, предложил ей руку и сердце. Мы купили дом и небольшой садик, наняли прислугу. В последующие пять лет у нас родилось трое детей. Случившееся со мной я воспринимал как данность, старался об этом не думать, никому ничего о другой моей жизни не рассказывал. Радовался, что меня не перенесло в окопы какой-нибудь войны или не забросило в суп к каннибалам.

Немецким языком и ремеслом горного инженера я владел в совершенстве — знания эти пришли ко мне тогда, на рыночной площади, вместе с новым телом и судьбой. Тогда же во мне появились вдруг — воспоминания о немецком детстве, которое я, оказывается, провел в городке Аннаберг в Рудных горах... Учился я в Горной академии во Фрайберге... Позже я посетил живущего там отца, высокого, сухого и холодного старца, отставного юриста, положил цветы на могилу матери.

Новая жизнь моя текла быстро, как в кино, но это была подлинная, полнокровная жизнь. Лечить зубы у гарнизонного лекаря было также больно, как и в нашей районной поликлинике у метро Профсоюзная, мои дети и жена болели настоящими болезнями, подчиненные мне горнорабочие однажды, во время пьяной драки, искалечили друг друга, и я чуть не лишился места. Ходить по улицам Зонненберга можно было весной и осенью только в калошах, жалованье я получал золотыми и серебряными монетами, радио, телефона и телевизора не было, но их с успехом заменяло живое общение между людьми. В Зонненберге была превосходная библиотека, там хранились и с полтысячи русских книг. Телеграф и железная дорога работали прекрасно. По воскресеньям мы ходили в лютеранскую церковь. Моя семейная жизнь протекала мирно и счастливо. Меня дважды награждали и в один прекрасный день даже выбрали председателем городского отделения Германского Общества Любителей Минералогии.



Какая нелепость... с немцами конца девятнадцатого века мне было значительно легче сосуществовать, чем с соотечественниками в прошлой жизни в Москве. Они были спокойнее, практичнее, проще, чем советские люди, может быть, потому, что «в их подвалах» еще не было мертвецов. И я в этом новом мире не раздражался, не страдал по пустякам и не бесился по любому поводу. В СССР я, как и все мы, был невыездным. Тут же я изъездил всю Европу. Побывал на Святой Земле, в Турции, Египте и Марокко. Дважды посетил Америку. Видел там индейцев. Они напали на наш поезд, но были отогнаны солдатами охраны.

...

Естественно, у меня захватывало дух от одной мысли, что я знаю будущее. Меня не страшило то, что я живу среди давно умерших людей. Иногда мне казалось, что все вокруг не настоящее. Что я живу не в реальности, а в какой-то ее проекции неизвестно на что. Но подобные мысли приходили ко мне и тогда, когда я жил в Москве в своей однокомнатной кооперативной дыре и вынужден был из-за ста пятнадцати рублей в месяц пять раз в неделю посещать нашу паршивую лабораторию.

Я подумывал о том, не поехать ли мне в Париж, найти там Ван Гога и помочь ему. Или Дега... Ну и купить у них с десяток картинок, так... для потомства. Еще сильнее мне хотелось: в семидесятых — посетить Симбирск и придушить там мальчика Володю Ульянова, в восьмидесятых — отправиться в Гори и пристрелить маленького Сосо, а позже, в начале девяностых — сделать тоже самое с другим ребенком, Адольфом Алоисовичем.

Будь на моем месте Че Гевара или Ричард Львиное Сердце, они, наверное, так бы и поступили, но я на подвиги способен не был, жил тихо, удовлетворяясь ролью наблюдателя. Раз только не удержался... за год или за два до смерти Чехова приехал в шварцвальдский Баденвайлер и пробыл там несколько дней, узнал, где остановились Антон Павлович и Ольга Леонардовна, бродил, бродил недалеко от их дома, но близко подойти так и не решился, не хотел навязываться. Видел их только издалека.

В конце девяностых я овдовел, дети к тому времени уже покинули дом, денег у меня было достаточно, чтобы безбедно прожить не одну, а три старости, я

уволился с работы, переехал в Баден-Баден, снял там квартиру и посвятил свою жизнь собиранию экзотических минералов и окаменелостей. Начал писать «Записки горного инженера». Бродил по окрестностям. Иногда катался за Рейн, в Страсбург, тогда еще прусский, чтобы полакомиться сырами и птичьими паштетами.

Потихоньку подступила старость, я чувствовал, что одряхлел, что теряю ясность соображения. Мои дети и внуки приехали со всех концов Германии, поздравить меня с семидесятипятилетием. Юбилей удался на славу, но я был рад, когда все закончилось. У меня часто болели ноги и желудок. Я очерствел и то и дело погружался в депрессию. Характер у меня испортился. Жизнь подходила к концу.

В середине января 1910 года я переборол себя, собрался с силами и отправился в Россию, в Санкт-Петербург. Мне не хотелось умереть, так и не раскрыв тайну моего перевоплощения, я решил во что бы то ни стало отыскать художника, нарисовавшего портрет, сыгравший со мной такую фантастическую шутку, и его модель.

Я надеялся найти их на Невском двадцать первого января, в сумерки.

И вот, я на вокзале в довоенном, дореволюционном Петербурге.

Какая роскошь! Какая бедность! Нет слов...

Снял номер в гостинице «Лондон».

...

Завтра ТОТ день, двадцать первое.

Место, с которого художник рисовал улицу и старика, я обнаружил еще несколько дней назад. Вывески на фасадах конечно были другие. Но дома, церковь, Адмиралтейство — все было как на портрете. Но вот же незадача!

Ночью дерзкие воры украли мою бобровую шубу, шапку, два чемодана и бумажник. Осталось у меня только то, что случайно оказалось в кармане брюк.

И десять золотых монет, которые я носил из предосторожности в поясе. Хорошо еще, что я, по давнишней привычке, оплатил пребывание в гостинице вперед.

Полицейский чин записал в записную книжечку мои показания и обещал найти преступников. Надо было идти на проспект, а я не знал в чем. Официант в ресторане посоветовал мне посетить меховой магазин Андропова за углом и

купить там верхнюю одежду. Я последовал его совету.

Приказчик, узнав о моих несчастьях, предложил мне задешево отечественную лисью шубу, слегка поеденную молью, и новый английский котелок модели 1890 года и обещал приложить к ним бесплатно красный шелковый галстук и темный форменный сюртук инженера путей сообщения.

Только напялив все это барахло на себя и посмотрев в огромное андроповское зеркало, я догадался, кем был тот старик на портрете. И похолодел от ужаса.

Ощущение, что все вокруг — ненастоящее, болезненно усилилось.

Я вышел из магазина на улицу как лунатик. Сильный порыв морозного ветра сбил меня с ног. Я встал, отряхнулся и пошел на Невский. По дороге мне казалось, что люди и животные как-то странно на меня смотрят, с издевкой, что ли, а фонари мне глумливо кланяются.

На фасадах домов показались другие вывески и рекламы — те самые, с моего портрета, а старые исчезли. Каменный мост на Фонтанке с грохотом обрушился в воду, как только я по нему прошел, вслед за ним начали падать и доходные дома, и дворцы, и церкви... В белесом мареве исчезали пешеходы и всадники, тумбы и столбы, земля расступалась и засасывала урбанический мусор в свои крошечные глубины.

Когда я наконец подошел к заветному месту, город на Неве уже невозможно было узнать.

Через несколько секунд от него не осталось ничего, кроме заснеженного поля, из которого торчали несколько чахлах осинок и березок. В сумеречном свете казалось, что снег переливается лиловатыми огоньками, а по краям поля колеблется как пена на ветру редкий темно-лиловый лес.

Прямо передо мной стоял открытый мольберт с красками и портретом.

Бородатый, одетый в черное, похожий на Таможенника Руссо художник, сказал: Наконец-то пожаловали, сударь, встаньте ка пожалуйста вот сюда, смотрите на меня и не двигайтесь. Расстегните шубу. И молчите, слова, как вы уже вероятно догадались, тут бессильны и неуместны. Мне осталось сделать только несколько мазков. Сейчас все кончится... или начнется... это уж на ваш вкус.

...

Мой старый будильник показывал без четверти пять. Мне надоело пялиться на

этот дурацкий портрет. Я встал со своего стула, откинул клетчатую занавеску и посмотрел в окно. Моросил холодный осенний дождь. Влажный асфальт был черен как воронье крыло, все остальное — дома, деревья, панельные девятиэтажные дома и небеса над ними — было коричнево-серым. Огромный московский двор зиял во всей силе своего безобразия.

Преодолевая слабость и зевоту, я снял портрет с гвоздя, оторвал от рамки медную проволоку и запаковал его в пять слоев газеты... перевязал тесемкой... а утром взял с собой на работу. После обеденного перерыва я не вернулся в лабораторию, а поехал в антикварный магазин, отдал там незнакомому продавцу портрет и квитанцию, показал надписи, обещал пожаловаться... и получил свои деньги назад. Затем заехал к филокартистке, расплатился с ней и забрал пальто. Надел новое пальто и поехал к бабушке.

Она не могла наглядеться на обновку. Гладила благородный каракуль и удовлетворенно кивала головой. Предложила мне кусок пирога с капустой и оставшийся после гостей салат. Я поел, выпил чашку сладкого чая и сказал бабуле: В следующий раз положи, пожалуйста, в салат поменьше майонеза.